

НОЯБРЬ 1917 ГОДА. ПИСЬМА Е.М.ШИЛЛИНГА - ДРУГУ.

"и несть образа ратного иже не бысть ту"

(И.Флавий. "Иудейская война.")

"Miserere" (из словаря иностранных слов,  
вошедших в оборот русского языка.)

"Она никуда не годилась."

(Из сказок Андерсена.)

*Если мои письма попадут кому-нибудь, то пусть тот человек представит большую серую комнату, совершенно пустую, с невероятно большим окном, обращенном к снегу. По стенам кое-где висит серый тюль. В середине на старой кухонной табуретке сижу я в шубе и заглядываю время от времени в круглое ручное зеркало. И пусть никто никогда не знает, что я там вижу. Несколько раз я подношу платок ко рту, и всегда на белом батисте вместе со слякотью остаются зубы. А когда пройдет весь день и явится месяц, как желтая крещенская свеча, я начну легонько покачиваться на табуретке - тик-так!, тик-так!, тик-так! Вот кто всё это себе представит, тот, значит, представит себе и меня, автора сих писем.*

*Что касается моего адресата, то это мой единственный здесь друг. Его никто не видел нигде ни же видеть может. Я видел как он дышит и как он идёт, видел так же его волосы и плащ. Всё это красоты неизреченной.*

*Вот и всё, что я на всякий случай добавляю, на тот случай, если кто. неровен час, возьмёт эти письма. И ещё добавлю поклон - низко, мол, кланяюсь.*

Москва. 1 ноября, среда.

Мой милый, мой бесценный и, может быть, о, может быть, мой единственный здесь друг! Кланяюсь Вам глубоким, глубоким безмолвным поклоном. Ваше великодушие даёт мне дерзновение обратиться к Вам с покорнейшей просьбой. А именно: я прошу позволения писать Вам письма ежедневно, в течении всего ноября. 30 писем, таким образом, я думаю Вам написать если, разумеется, буду здоров. Радуюсь, что для сообщения с Вами мне не придётся прибегать к почте, она у нас, кстати сказать, и не работает сейчас - всё закрыто, некуда деться, стреляют пушки, ружья и пулемёты. Беснуются на стогнах. А во внутренних двориках нашего большого замкнутого дома залёг Домовой Комитет, здоровый этакий, ест, слышали, много. Милый друг! Мне не хочется осуждать, потому что сам я осужден и всякому нищему безмолвно говорю: "Miserere"! Но не наблюдать не могу, и, может быть в величайшую честь будет сим людям то, что я про них скажу, ибо буду говорить Я, а не кто иной, я - безмолвно вымаливающий "miserere" даже у неимущих. Итак, дорогой друг, ночью я вышел, чтобы стать на стражу, как у нас положено и охранять от хулиганов, если они случаться, множество женщин и множество разных предметов, принадлежащих Домовому Комитету по праву частной собственности. Пост на дворе мне был указан членом, который сказал:" Через 2

часа Вас сменят. Секрет вот в чем - на эту крышу выходит дверь, **доктор** за неё особенно боится. Через некоторое время приходит другой член и говорит: "Где **доктор**?" Через некоторое время вижу пенсне, засевающее краями в струях усов и розовую точку носа в середине этой комбинации: " У Вас живёт г.С? Я **доктор**. Ага. Так-так. Это очень важно. Благодарю Вас."Таков был доктор. Хотелось спросить его о здорoвии г.Омэ из "Мадам Бовари."

Темно грохочет канонада и ... и вдруг ласково незаметно втекает в сознание - Ноябрь! Ноябрь! Это ты. Ноябрь. Неужели это ты. Я решил Вам писать, о мой бесценный друг, писать немилосердно, каждый день. Я представляю Ваш дом, слишком далёкий и слишком близкий, куда ни один почтальон никогда не приносил писем, да никогда не принесёт. И Вас представляю, как в полночь Вы выходите под звёзды в широком плаще и тепло дышите своей мощной грудью, а по волосам струится усталость. За последнее время я много о Вас думаю и очень благодарю Вас за то, что Вы бываете в "Рапсодии" - личные свидания оставляют неизгладимые следы. А хотите знать, кто надоумил меня затеять эту переписку?- Господин Гофман.(Э.Т.А.) своими рассказами:"Ошибки" и "Тайны". Однако не подумайте, что здесь всё - Гофман. Ничуть. Сердце сказало бы (да оно и сейчас говорит) и я нашелся бы. Довольно слов. Я лучше расскажу Вам этот день - с конца, ретроспективно, с того, что ближе и лучше. Мерцает свеча в потёмках ноябрьского предутрия; лёжа читаю книгу о не вечернем свете. Перед тем, как лечь пью чай в сладчайших потёмках того же воскресающего ноябрьского дня. А раньше что? - Дворик, темно, выстрелы, думы о Вас, часы и думы, часы и думы, часы и думы и вдруг рассветает. Умилительный рассвет, похожий на ласковое дыхание, на различные повадки и красоту зверя, не сознающего кто он и что он, и что он умилителен своим дыханием. Благодатные возникают мысли о том, как я вижу, что идёт прекрасная в своей строгости седовласая матрона из средневекового моралитэ "Jedermann". Се к заутрине идёт и слуга ей фонариком светит в пути, а её сын упоен меж тем временными сладостями, не ведая ,что быстро бегут корлоткие полунощные и предутренние часы. Эти благочестивые размышления счастливо охраняют меня ,когда приходится идти домой по нашей большой лестнице: женщина метёт лифт, где только что пёкся, радел и рачил Домовой Комитет, охраняя своих жен и свои предметы от возможных посягательств. Щетка ворочает окурки, огрызки мужских анекдотов, манжет, хлястиков; и всё это хочет мне плюнуть в морду. Минуем. За плечами стоит весь день: вот хоть бы , что поближе,- рассказы (С2.)вечером, а там, подальше,- локоть (В.), опершийся на мою руку: сижу на диване сумерками, но мне совершенно ясно, что это она и что это локоть. А ещё дальше мы идём по нашей широкой короткой улице и дым похож на горы, выстрелы на гром, а всё вместе на Тифлис, и дальше идти некуда - только домой, но и дома, лишь двинешься,- видишь: идти некуда. Что же делать?

Вот, например, утро, время самое далёкое от последних сладостных часов ноябрьского первого дня (вспомни, дорогой мой друг, начало письма), утро, утро! Пена обмётывала мне уста белыми, горячими крапинками, глаза лезли вон. Как мало я сегодня сделал. Одно утешение: мы встретимся в "Рапсодии"; и Вы,

Вы один и никто, о никто! Вы зажмёте моё miserere своим тяжелым поцелуем. Я ещё не могу придти в порядок, ибо к страшному для меня приступаю: всё отнято и всё дано. И что же? Ты камень? "Да!" ответил мне жестокий. Но Боже, Боже прощения, снисхождения...Грабить не приказано. Ведь говорят же:" Вот добрые" и при этом указывают.

Может быть завтра я буду писать складнее, а ответы, которыми Вы не замедлите по своей Доброте и Любви помогут мне делать спасительные выводы. Дай Бог, чтобы только первое письмо и последнее, как это и понятно, были лишены сих спасительных выводов. Простите. Приветствую Вас ещё раз глубоким, глубоким безмолвным поклоном и подписываюсь "другом" так Вы добры.

Москва.2 ноября, четверг. Незабываемому корифею: здравствуйте! В "Рапсодии" не был, о "Чаше" не писал и лишь читал. (Невечерний Свет.) Утром: Выйди бы из себя, да некуда. Сумерками: Полная замкнутость и то ценное, что есть внутри, под знаком "стыдно". За прогулкой по двору: Ишь ты, зайка!

Это селезень, (всё о себе) Он пригожий.

Вечером: М.Твен. "Принц и нищий."-"...всё острее и острее становится" (про нож). Перифраза "всё краснее и краснее становятся" (про руки Евг.Шиллинга.)

Ночью: внутри дорога, очень долгая. Как только помещается? И песеголовцы не удивили бы.

Я привык к такому стилю - мысль укладывается между двумя точками, потому что принципиально это ближе к молчанию (заметьте -не к ребусу) т.е. к изящнейшему языку из человеческих. Про слова:"Как их сказать?" и "Кто их слушает?" А про молчание (о том, что оно говорит и что его можно слушать):"если только пожелавший пожелает."

Завтра я напишу, что значит "гулять вместе" и почему "ноябрь". А сегодня, простите, я тёмен и Ваше милое приветственное послание меня застигает. Следовательно: много имели дорогого и много страшного, но первому перст даём, а второму ладонь. Следовательно: дай помолимся, чтобы перст уступил ладони и наоборот. Следовательно: есть спасительное наставление, которого надо держаться.

Боюсь, что завтра Вас не увижу. Жду хотя бы записочки. Незабвенному корифею : "До свидания!" от Евгения Шиллинга.

Москва.3 ноября, пятница.

Милый друг, я хочу Вам описать сегодняшний день, орудуя двумя господствующими знаками моей жизни в ея текущем моменте:1 что значит "гулять вместе" и почему "ноябрь"? 2 - что значит - "к страшному для меня приступаю?" или - иными словами - в чем заключается эксперимент? (это конечно эксперимент)

Итак, первый знак - ноябрь, второй - эксперимент. Сегодня утром мы узнали, что мир, и все это - вновь ожившая улицы, прекращение выстрелов, то,

что иду с С2. куда нам надо и то, что видно, как убран мусор недавних сражений и то, что на стогнах не беснуются - всё это вдруг напомнило детство, когда перед нашим домом был сад, нежно скрывавший от нас соседей, улицу, облака, и как однажды подрезали деревья. Помню утром было непривычно светло и бело. Помню откуда-то появились соседи и всё ушло.

Было ясно, что эксперимент прекращается и скоро начнется обычная жизнь. Дорогой мой друг, представьте себе "время" - это пила и колёса эпохи застенок. Се делят бесконечность на бесконечность - дух (неизмеримый) на части (неисчислимыя) и краеугольный камень обращается во многия горсти песку. Дух слаб. Не алмазтовый это дух. А плоть? Плоть - резонатор духовного мученичества; по ней мы узнаём время, как оно действует под левой грудью, на левом запястье, в висках, в желудке, в ушах, в глазах. Не дети мы и по кашлю узнаём, что серая пыль истлевших дней осаждавшаяся в горле, смешана с песком размолотого духа. О, друг, простите меня за высокопарность - оно не что иное, как моё обычное *miserere*.

Не буду Вам говорить, как это произошло - для меня самого не совсем ясно, укажу лишь на факт: война в Москве, заключение в четырёх стенах, гостящие у нас люди, какие-то особые миазмы, наполняющие воздух,- всё для меня повлекло прекращение времени, если не на духовном, то по крайней мере, на душевном плане. Сладко, радостно и хорошо. А т.к. указанная атрофия времени произошла центростремительно, не от меня, а ко мне, я называю этот факт несколько неточно экспериментом. Вот уже неделя, как он длится и требует от меня адекватности. Я выведен из замкнутости, я пребываю вне физического резонатора и должен оценить и взвесить сколько осталось и что именно из неизмеримого во мне, а что обращено в песок. Могу Вам сообщить теперь решение сей задачи, увы, далеко несовершенное за недостатком времени и за преждевременным прекращением эксперимента.

Первая резолюция: еси. Вторая резолюция : вижу задачу. Оглашаю её в себе, что она страшна, как весы Страшного суда. Что же делать, дорогой мой друг, и за то спасибо. Ведь это про меня:"Где твои алмазты?" Теперь, думаю, выясняются слова из 1 письма: "всё дано", ибо в самом деле всё дано, если время отъято, и - "всё взято", ибо ведь тяжкое и горькое страдание эта неделя вне времени, купленная кровью или, вернее сказать, вызванная кровью, потому что я не участник. Тяжко и горько. Меня бы спросить надо:"А дешевле не уступишь?" или, вернее:"Кровью ли тебя разбудим?", потому что я не участник. О дружбе, дружбе, как мы ужасны, если такие цены и такие условия и если страданием мы упоёмся, почитая его за радость лишь потому, что оно ступенькой выше предыдущего страдания. Перевернём пословицу: из польмя да в огонь!

Так мы шли (я и С2) по улицам, как по неожиданно подстриженному саду из моего детства, когда где-то сбоку последовали залпы, публика рассыпалась и мы решили возвращаться. Есть у меня тень (К.3) Я недостойн коснуться даже ремня её сандали. "Подождите минутку," говорю С-ву,"здесь дом один". Дом цел. Окна сверкают. Ветер дует. Возвращаюсь. Офелия, о Нимфа, помяни меня в своих святых молитвах.

Идем молча. Всё молчит. Я почти хзабываю, но ОН напоминает тихонько, со всех сторон, шепотом, отовсюду, изнутри, незримо, снаружи, что ОН -

Ноябрь, что это - Ноябрь, что сейчас ведь Ноябрь. О, друг мой, прочтите это имя про себя: сильно боюсь, что звучащее, оно надоест Вам. Моя вина. НО перед Вами ли смолчу? Да что такое в самом деле? Знаю! И сказал бы безмолвием, а скажу словами -(они таковы по себе),потому что про моё ежедневное с Вами общение уже засвидетельствовано и условлено: это письма. Так вот, представьте, -в бурю, в непогоду выхожу один гулять. Надвигаются сумерки. Снег запушил стекла окон. (сумерки

- небо; снег - замирающие вздрог времени; стекла - мерцание взгляда, окна - глаза) Иду один, но и вдвоём, и вместе. Гуляю, но в то же время и гуляем. Бреду, но и бредём. Тот, идущий \_ не я, а тот ,идущий, не виден: мы идём рука об руку и смотрим вдаль. Он не виден, а у него мерцает взгляд и полупотушен. Он не виден, а знаю, он захвачен, застигнут и непогода лобзает ему голени, нежно извивая подол шубы. Обо всём сужу по себе. Оба мы - две мраморные головки Скопса - эллина с глубоко западшими глазами и с опущенными углами ртов, эти две головки будто бы тонут в океане. Оба мы отец и сын в чужом городе - вот будто бы они у камина, вот будто бы на улице,"MISERERE"миру, утомлкая улыбка мира, "ездок запоздалый, с ним сын молодой". И при этом всё-таки, я один. Один иду. Иду один, но и вдвоём и вместе. И при этом я сказал бы про себя: "Выдем ка!" или - "Вы - дымка".А мне сказали бы:"Выдумка!" И при этом так , что я сознаю себя русским и что я в Москве, и что здесь Москва-река, Замоскваречье, заваленки и главки (но всё сие уже входит индуктивно).Здесь начинается другой вопрос - колорита, про который я Вам напишу когда-нибудь. А о том, что именно означает "прогулка",сказать обобщенно не рискну, чтобы не показалось, что ея изображение написано образно. Не образы, а изображения. Понимайте в духе реализма. Да и не смогу даже обобщить,- трудно. Может быть это - miserege, м.б. - неуловимый ход не прерываемого в сущности ренессанса, м.б. - прекращение времени. Если ввевать в молитву, то Юе будет - "ныне",2юе - "и присно",3юе -"во веки веков" и обо всём - "аминь".

Когда мы пришли домой, оказалось, что меня ждал М.М.П. 4 В сумерках он сыграл мне отрывки из "Садко", из "Снегурочки" и из "Князя Игоря", а потом я пошел его провожать. Шлось хорошо. Дома горели изнутри огнями. Все спешат. Мелькают лица идущих навстречу. Дует ветер. Выясняется, что и я своим духом могу идти навстречу, что не "стыдно, что примут, облюбуют. Есть у меня одна тень(К.З).И на ночном дежурстве много выясняется - дворик, всепрощение, труд, мягкость и кротость и тень, тень... Даже время в левом боку не отстукивает, даже пролежни в левом боку забываются. Чего простить нельзя, то позабудется и позабывается. Почти забываю, что я черен и тихо вдыхаю. А почему, дорогой мой друг? Почему весь день изобилует и череват? Внемлите моему

заглушенному ответу:"это ноябрь." Отнесите сокровенно к имени

- ноябрь это имя, это его дух, его атмосфера, его сумерки и самые короткие дни и долгие ночи. Периодические ходы пилы нарушаются. Зубцы залезают в потёмки и лишь правым концом пила захватывает свет. Наступает высокая тьма, высокая пустыня.Разумеется пила - время, потёмки - ночь, высокая тьма и пустыня - вневременность и, наконец, всё сие безумно написавший - Евг.Шиллинг. Вас любящий всеми силами души.

Москва 4 ноября, суббота.

Чем дальше Вы от меня, тем настойчивее меня укоряет наше содружество, что я недостойн, что я чуждаюсь. Знаю, у Вас есть колпак. Ладони чешутся. Я бы его сбил. О, дорогой, воистину единственный мой друг, горькая могу принести дары. Потенциально уже шевелится хула. Простите же меня. Приветствую Вас. Здравствуйте! Восклицательный знак не помогает, и строка звучит заглушенно и сипло издалека. Меня увлекает утлый челн. Вчера я устал и поэтому сейчас позволяю, пусть.

Вот причалили к Собору: митрополиты рассказывают про Кремль - Тихон<sup>5</sup> о том, как им было трудно проникнуть, как разорвана икона на Ник.воротах, как пробит Усп.Соб.,Вениамин<sup>6</sup> - как братия толпилась в коридорах Чудова и как мощи патр. Ергогена<sup>б</sup> были перенесены в подземелье.

"Ну что ж",-думается," ну что ж! Всё позволено." Горькая это мысль. Вот я причалил и к священным перстам: три руки. Одна принадлежит еп.В7.,другая - архиеп. А8, третья - иеросхим. старцу А9, и со всеми лобызался. Вот уж поистине - плывём и не знаем, где будем: прилёт, думя:"это на минутку! И то сделаю, и то сделаю", а на самом деле продремал напролёт все сумерки от обеда до ужина. Но это - ничего - во-первых, устал, а во-вторых - в ноябре я всё испытаю, всё должен испытать и претерпеть. Дорогой друг, мне мало спалось, много виделось - будто бы в стены, в различные вещи и предметы той комнаты входили различные люди, их мысли и я сам и мои мысли и желания. Это напоминает Nature morte'ы Пикассо. А происходило так, потому что во время дремоты мои веки сделались прозрачными, и я сквозь видел всё кругом. Пишу мало. Не могу. Вечер клонит,С2 читает рассказы, а "Невечерний Свет" и Гофман венчают бледного царевича, в полуночь пресавившегося. Простите. Нас замечает. Вставай, юродивый, Богу помолимся. Это песчаный домик. Ваш Е.Ш,

Москва 5 ноября, воскресенье.

Дорогой друг! Сегодня в Хр.Хр.Сп. после торжественной обедни произведен был выбор патриарха. Жребий пал на митр. Тихона. Встали мы рано(я и С2) - тёмное воскресное утро, первый снег, улицы, как подстриженный сад из моего детства. Какое счастье; я всё испытываю - и тебя, утро, и тебя, ночь! и многое, многое в ячейках нашего короткого тёмного дня. Свежо веет. По бульварам снег. Обедню служили митрополиты и архиепископы. Владим. икона Божьей Матери сверкала, ковчег со жребием зазвенел<sup>10</sup>. Митрополит В11. ужасен - польнь и что-то неопределенное от Страстей, но в то же время он абсолютно "каноничен" и, следовательно, красив. В Троицком подворье происходил чин "благословления патриарха." Краткий молебен без диякона служил сам п.Т. Когда он вышел из алтаря, то слегка шатался и рвал слова, но потом всё прошло, и это был патриарх, заглядывающий в себя, как пророк в Бога.

Вечером мы (я и С2) опять бредём, заходим в два дома, но

мне почти тошно и лишь впечатления сверкают и звенят. Вечером я вижу, что это воскресенье. Боже, как далеко от Вас! Безмолвно кланяюсь. Простите. Е.

Москва. 6 ноября, понедельник.

Милый и добрый дружок мой, сегодня могу написать Вам только записку. Все мне сочувствуют, и глаза у всех лоснятся. Одна заходила - фантасточка. Всем покажу когда-нибудь мои стихи "Секрет Полишинеля". Посторонние дела меня отвлекают. Это трагично, потому что "дела" не более как щит, которым я закрываю грудь избражденную жалом немилостивого времени. О, время! Но я сознаю Вас и оглашаю это. Простите. До свиданья. Ваш Ев. Шиллинг.

Москва. 7 ноября, вторник.

И сегодня, дорогой друг, только записка. И сегодня - дела... Всё на будущее закидываю. Напр.- завтра - день крепкий и бессмертный - так по крайней мере значится в невещественном календаре. Вспоминаю письма от Го - до бо. Как ужасно написаны и как некрасиво. Вспоминаю и счастлив. Ну что же, ну что же, их никто не поймёт и только Вы, Вы, Вы. И я вижу, что всё прощается, что меня любят. Как бы кто ни был ужасен, его примут - кто-нибудь, да примет. Так и меня приняли, да ещё кто? - Вы, Вы, Вы. Почти не верю. И меня приняли. Принявший меня дышит широким тёплым дыханием и в полночь выходит погулять. О, друг мой, сейчас Вы один со звёздами. Вспомните меня, Вами живущего и отходящего ныне через Э.Т.А.Гофмана ко сну грядущему. Евгений Шиллинг.

Москва. 8 ноября, среда.

Восьмое, друже, как всегда оказалось отреченным: будто бы год его отрек и оно отreglo год; будто бы встали бывшие благочестивые цари и царицы, патриархи и старцы, встали поутру петь в потёмках. По саду снежку намело. Подолы - белыми снегами. Вдали поют, поют не напоются докуда вовсе не истают восковые свечки. Благочестивые цари, царицы, патриархи и старцы поют боярина Михаила. Поют не напоются. А на завалинках калякают прихожане. И так всё предутрие, всё утро, весь полдень, всю вечерню - вплоть до вечера, когда глаза уже усыпают, ноздри восковеют, руки упокоятся; когда всё стихнет и когда лишь тоненький налёт пены шевелится по устам, как хвостик, но и он коснеет. Друже, ясно мне, что этот день отречен и отрекает. Се архистратиг Михаил молнией своего чела отторг день от года, как ветку от дерева. "Что же делать? Что делать?"; - думаем мы - "ангельский это день и как таковой тянет к неведомому. Горький это святой день, ибо отторжен от родимого года, человеческого и видимого. Споём ему. Споём дню. Споём Михаилу. Это ЕГО имя, имя дня, ибо господин ЕГО - архистратиг Михаил, но и день - Михаил и, полагаем, можно добавить, - боярин."

Друже, мутен глаз у меня! Едва вижу! А даётся много - утром литургия, а потом Собор, потом помыслы. К вечеру - суетолока. Коснею Мальчики... в глазах... Тяжко. О, как бы я хотел замкнуться, уйти в угол и глодать корку, потому, что сказано: "возвращается пёс на свою блевотину" и сказано: "никто не знает СЫНА, только ОТЕЦ и никто не знает ОТЦА, только СЫН." Никто не поймёт, только Вы. Ограбят. Вы не ограбите. Сладко и горько. Numoguesque. Я прачка про которую сказано: "она никуда не годилась." (см. Андерсена.). Но Вы принимаете, говорите: "Куда-то" или - "Куда - нибудь", определяете куда именно и чувствуете венцом. Напишу завтра.

Княже, исполать.Е.Ш.

P.S. Мой отец дышит. И, если он при этом не кашляет, то дыханье его походит на Ваше. Обоих я целую, исходя любовью и сим отвергаю.

Москва.9 ноября, четверг.

Здравствуйте. Приспели тёмные потёмки. Прачку ограбили и она сама виновата. Но ведь это ничего. Ведь это не значит, что её только отвергнуть. Грабить не приказано. Открою карты. Покажу день. Комментирую. И Вы поймёте. Маленькое диалектическое предисловие: условно, только для данного случая положим, что оборот с "я" означает свою собственную волю и полную сохранность своего имущества, а оборот с "мы" - разграбленную волю и имущество, увы, плохой сохранности.

Итак, утром мы бредём с С2 куда ему надо и так, как ему надо (имущество).Затем, мы возвращаемся, снова выходим, на этот раз в полном одиночестве, входим в театр "М" и слушаем, как говорят о том, о чем им надо, как им надо, если же мы сами вступаем в разговор, то собеседник говорит, как ему надо. Скажу вообще, что подобный план или подобная постановка беседы проводится и сохраняется не только при наличии настоящей беседы, но и при наличии ея элементов (вопроса, ответа, замечания, суждения, фразы, слова, мысли, вздоха, мания ресниц, жеста и т.д., вплоть до неулавлиющихся мелочей (воля).

Потом мы снова дома, и лица сменяются...Я, воля и имущество выстраиваются по определенному плану разрушения и грабежа, подобно тому,как железные опилки рисуют свой постоянный план по краям магнита.

Наконец бредём на полтора часа к Т. и далее - в Театр для

С и так, как ему надо.

И вот остаётся - огрызок, не то вечер, не то ночь.Углы моей комнаты тонут. Я с собой.Осмысливаю грабёж, ищу своих, вхожу в "Рапсодию" к Вам, светлейший, и слегка, и только слегка, закашливаюсь от тех немногих реплик, которые бросает С.,корректирующий свою книгу. Вот и день,о, слишком короткий. Утомленно смыкаю глаза, добрый мой друг.До свидания. Е.Ш.

Москва.10 ноября, пятница.

Здрасьте, дражайший! Помалкиваете? Нежнейшие мои приветы расточаются. Мои обёятья щупают пустоту. Сколько грации, сколько изящества и благородства! И всё это уже почти что - "было". Моё тело и душа проступают ужасными, приводящими в содрогание пятнами на вещах и делах мира сего. "Была ночь",-говорю я себе, потому что она дала себя знать."И утро тянется", ибо оно даёт знать, всё зажухлое, проклятое, позднее, ломающее и почти неутреннее утро. День, как сквозной корридор морд. Узнаю Кондратьича.Это Кондратьич. Здравствуй, Кондратьич! Гулять зовёшь? Ну что ж, пойдём. Выхожу и мерно постукиваю мозгами по двору и покачиваюсь, как батюшка в колпаке, как в клубуке. А у НИХ это называется дежурством, так что говорят:"Это Е.Ш. Он дежурит сегодня от 12 до 2. Он ходит. Это он."

Дома стоят. Вышедшие идут. Всё чавкает. Меня всюду ведут. Сажают за стол. Показывают и объявляют цену показанного.Обнимают и приветствуют.

Утро далече. И вот я приперт лбом к ночи. Ваша "Рапсодия", о, Ваше сковородие, заставляет меня пугливо поводить глазами и, преврвщась в волка, щелкать зубами. Однако, я креплюсь и целую её. Комната наполняется зубами, ногами, лицами, штанами и манжетами, потому, что это комната, через которую надо сейчас проходить и в которую надо войти.

Глаза смотрят, рты разеваются, гортани скрипят, вокруг меня заставают словечки, вопросы, суждения. Я чувствую, как дёргаются во мне жилы и зреет крупный и круглый пот. Впрочем, ничего не обнаруживается, и все думают по своему, никуда не вникая.

И вот, Вашество, вот Вам два человеческих документа - моё вчерашнее Вам письмо и это, сегодняшнее. Каждая строчка, каждый факт, каждая диалектическая форма - всё обозначает одно и то же: меня грабят. Грабят и не останавливаются. И не милосердствуют. Может быть и Вы даже грабите. Хорошо'с, хорошо'с. Пусть так. Я согласен. Представьте только документик, бумаженку с печатью и подписью начальства, что, дескать, так-то и этак-то по оным &&ам объявляем, что ГРАБИТЬ ПРИКАЗАНО. Нет, сукины дети, Вы не отыщете документика, ибо его нет и ибо ясно сказано у господина Островского, что наоборот - ГРАБИТЬ НЕ ПРИКАЗАНО. Слышите ли? Не,не,не. Да'с. Хорошо'с. До свидания'с.

Простите меня. Сами знаете, многими страданиями искуплю хулу. Братья мои, мои сестры! Как часто ВЫ поступаете со мной разбойнически, производя во мне опустошения, и пользы для Вас в том на грош. Яандерсеновская прачка. Вы - Крезы, а что касается Ваших достоинств, то скажу: "тьма темь" (без иронии). Все замкнуты в себе, как кости в гробах наваленных, и обращаемся друг с другом, как бы преступники - стуком в стены своих темниц. Но, если кто менее замкнут и, если надо указать на этого человека, то было бы справедливо указать на меня, на прачку, которая "никуда не годилась". (ведь про неё у Андерсена сказано: "Она никуда не годилась." Это я. Про меня.) Искренно, искренно всё это я говорю и нижайше прошу прощения. И только по тому я кричу: уйдите! уйдите! и только потому всякое Ваше прикосновение оgrabляет и разрушает меня, бесцельно, не производительно даже и для Вас, грабителей, только потому я хочу остаться один в своей норе, как пёс, потому только, что потенциально вышел из времени, вышел из тела (пусть даже одним мизинцем, но всё-таки вышел!), разомкнулся. И се смотрите: одинокая в своей общественности сидит на мостках прачка и синими руками бьёт набухшее бельё. А её кругом грабят: водка разрушает горло, ветер рвёт волосы и тушит глаза, вода выгоняет кровь, стужа сдирает кожу и синия, синия руки виснут и окунаются в холодную муть речки. Ведь я miserere кричу на перекрестках, в мире это стыд в тайниках души того, кто решился так кричать. Думаете не знаю? Не чувствую? О! Горы на плечах. Осудят. А я говорю: пусть!

Что же делать, что делать? Ну, давайте вместе петь, пройдемтесь вместе. Или, дайте, шепну вам тихонько: "возлюбим друг друга."

Друже! Прости, друже! Я устал. Прости ПРАЧКУ, - так ты добр.

Москва. 11 ноября, суббота.

Прости меня, милый, за ту синюю руку, которая писала тебе моё вчерашнее письмо, но знай - она написала десятую долю.

Позднее утро захватило меня на софе.Из окна на темя изливается белый свет снежного неба и звериными вздрогамии проникает в зрачки (через ресницы), в мозг (через волосы), в лёгкие (через горло), в лиловую спинку моей закосневшей руки (непосредственно).И вот ясно-ясно, друже, по моему лицу, оплывшему жиром многих проглоченных дней, по лицу, обветренному многими пронёс-  
шимися месяцами, так что кожа - как красная кора, глаза,- как чадные фители гаснущих лампадок, по лицу, закоптелому от многих сгоревших годов, друже, по такому лицу, по такому лицу (лицо ли это?) ясно - ясно скрежещет и плещется море ,в котором говорится, что родина близко, что это ВОЗВРАЩЕНИЕ после многих пустых странствий, что берега потребуют ответа, что Пер Гюнт старик.

Милый мой дружок, я лежал и ясновидел: всё было в порядке, и даже опытный глаз Гольмса не определил бы с такой поразительной ясностью чего не было, а я ясно - ясно увидел, что на слегка дурманящей поверхности какого-то маленького столика, запрятавшегося в самый далёкий угол, не было ШАХМАТОВ, микроскопически ограничивающих и замыкающих в своём пределе бесконечно-разнообразными сочетаниями."Но это ничего",- думаю,-"я их куплю."С этой мыслью я встаю и вхожу в отверстный мне настезь день.

Вплоть до вечера тянутся мелкие грабежи (С. на Кудрине, запоздалая записка на писм. столе;Т на Патриарших, сутолка и мерцание электричества в комнатах и пр. и пр.), прерываемые мыслью о ТЕНИ. У меня есть тень (К.), ей я недостоин...

К вечеру эта мысль возобладает, и я даже мог бы увидеть ТЕНЬ ,если бы не последний грабёж, лишивший меня возможности: дом, освещенный не вечерним светом был почти пуст.Она ушла. Я опоздал.Но это ничего. Всё таки я бы видел.Ноябрь тоже утешает после долгого молчания.Он виден даже из-под доски, в закоулке, по горстям синих снежных искр, виден в сумерках, когда свеча у зеркала,а за зеркалом окно, виден ночью (опять дежурим сегодня), когда в темноте звонят к ранней, а удары струятся,как бархат и вино.

Друже, мне ясно, и я спасительно вывожу:"помилуй, Господи".Прощай,друже. Твой друг.

Москва.12 ноября, воскресенье.

Друг ДРУГУ - "исполать"! Усталость и тающая нежность дня слегка поддерживает меня под руки.Был у литургии.Мне подарили серные спички. Был у заставы города в воскресных сумерках.Сидел за чайным столом у (у П-х12).Вот дома.Слушаю Берлиоза, Листа, Скрябина, Снегурочку (М.М.П.13).На рояли лампа,свечи.Углы тонут.Страшная маска "вечера воскресенья" на минуту ударяет в лоб и вызывает тошноту ранним вечером, когда в комнатах суета и гости. Но они уходят.Всё миротворится. Грядущу.

Другу от друга: "исполать!"

Москва.13ое ноября, понедельник.

Милый патриарх, моё убежище от лютых, мой надёжный приют! В душе своей я про Вас говорю словами шубертовой песни (что-то:"...чаща лесов...голыя скалы..."(Воистину Вы единственный.Без Вас никуда.Хочется проводить соответствия, поведать сердце, слушать Ваше дыхание, и в тёмной ночи глядеть

на мотылька, вьющегося в отсветах тонкой, как плева, нити, вылетевшей из пальцев безвременности - ведь жизнь бессмертная. И вот милый, милый, вижу в избе на лавке сидит кто-то в мутной полутьме за прясницей с веретеном, и мысли отперты. В зыбке скребётся кот; глаза заплаканы; месяц под косой блеснит, при каждом вздроге из рукавов выплывают лебеди; таракан пугливо косится на кусок хлеба и бежит прочь; половицы скрипят; на полу лежат чьи-то белые, как горячий камень зубы; во лбу горит звезда; прищуренный устремлённый взгляд в окошко берёт долгую зимнюю ночь, все храпят, а неутомимые пальцы кладут на веретено конец нитки, выходящей из преодоливаемой дремоты. Время, где твоё жало?

Сиж у окна за столом, и никого нет, потому, что наш город сегодня хоронит усопших на стогнах студентов и юнкеров. Я как-то не сразу это осмысливаю и узнаю изнутри, а не изо вне, по словам:

"Быстры, как волны все дни нашей жизни Что час, то короче к могиле наш путь... Умрешь, похоронят, как не жил на свете ...Бог знает, что будет с нами впереди..." - это песнь русского студенчества. Это на пиру. Надо вдуматься. Все

ушли и что-то там молча делают, так что даже спрашивать нельзя. Сиж один у окна, пишу и чую, как своё делается не своим (всегда в таких случаях), а Малая Бронная меж тем весьма внятно поёт: "Miserere". Отвечаю, как эхо: "Miserere". Никто не слышит. День мигает от метели. Меня клонит дремота. Я убеждаюсь, что теперь каждый день бывают сладчайшие сумерки и нет сил их удержать. Обеденный час кажется оранжевым, золотым. Легко вхожу в Ваши хоры и кручусь в звёздах. Тошнит. Горькия мои уста. Целую патриарха. Ш.

Москва. 14 ноября, вторник.

Серка, Серка! Здравствуй, Серка! 14 Чем только не упоюсь! Что только не навожу! Всё изыскано до последней снежинки. Нас замело. Бегают девочка вокруг стола, а скатерть на нём так и полыхает. Пожар! Пожар! Я не виновата, это Серка.

Серка в углу, у окна стоит не шелохнется; по комнате пробегает холодная дрожь; потрясающая своей величиной окно зияет в серый туман, по белым ледяным стенам и по потолку вьётся серый тюль. Мертвые уста не принимают к детским, не лобзуют. Нас замело. Снег запушил стекла окон. Девочка всё бегают, не набегаются, всё догнать хочет, всё в прятки играет.

Серка, Серка! Где ты? А часы бьют "12", утреннее "12". От скатерти у меня загораются уши, и лязгают челюсти в бурном беспрерывном смехе: "Горит и не сгорает! Неополимая купина!..."

Серка, знаешь, у меня в груди куски черного бархата, они медленно опускаются и глушат затылочную дыру наискось пронизывает дребезжащая струна из железной проволоки; конец струнки тонет в черном бархате. Упоён. Не выйду. Не оставлю. Мягко, мягко вылетает из горячей, ослабившейся глубины горла кошмар. О, кто бы, кто бы мне спел "норвежский дуэт", так чтобы полиловетшая чета пела от любви, увенчанной брачным венцом и как они жили долгие годы вместе, пока жили, и как они постепенно заплывали жиром, и

вопиют лиловые лица мертвых, и синие толстые пальцы не сгибаются от подкожного жира. О, кто бы мне их спел, кто бы мне спел этот дуэт.

Серные спички ещё не все сожжены,- осталось несколько штук. Андерсеновская "Ёлка" царапается. Дорога скользит. Всюду ведутся какие-то рассказы, превращающиеся в людей, в улыбки, в дела, в тени дел. А как я ходил, ел, лежал, здоровался, говорил - не знаю.

Серка, Серка ...это я. Москва. 15 ноября, среда.

Серка, где ты? Знаешь, что бы я ни делал,- чувствую будто бы у меня нет головы или будто бы моя голова вывернута наизнанку,- до такой степени я рассеян и до такой степени разлагаю. Это антихрист, поклявшийся, "Сгною всё! Ей-ей!" Что приму, полюблю, то отвергну, тому противлюсь, того избегаю, хочу сломать. И, если я что-нибудь тебе рассказываю, то только пытаюсь рассказать. Также вот и теперь. Ну, слушай. Тёмным, святым утром мы (я и С.) вышли к ранней литургии как бы в катакомбы. (служил епископ Андроник Пермский<sup>14</sup>. Пели саборяне и епископы. Апостола читал архиепископ Кирилл Тамбовский<sup>15</sup>. Оглашалась молитва Ефрема Сирина умиленная.)

Светлым освященным утром я возвращался домой к чаю и заснул с хрустальными веками. С двух часов пополудню начались грабежи: б.М. просит спирта, курит, говорит; Вера обедает; О.Т. смотрит в зеркало на своё декольте и мерит меня слепым аршином глаз; В и б.М. угощают и вводят в Лесбос; ночные улицы поют хулиганскими выстрелами: "зайчик!". Так разграбили, так разрушили, что руки синеют, глаза сатанеют и видят, что орбиты, в которых они же сами засели принадлежат ПРАЧКЕ. Спасибо Гофману за Вольфрама, да скользкому снежку, а то не заснул, Серка. Е.Ш.

Москва. 16 ноября, четверг.

Серка, и сегодня грабят, но больше не из рук, а из нутра. Напр. почта и вокзал. Особенно вокзал. (провожаю), где за слабые мускулы и за незнание сноровки даже глухонемые упрекают, "прачка!" Еду домой вскоружными царственными сумерками. Особенно хорошо у Сухаревой с её палатками. Обедаю сумерками, ем за двоих - за Моцарта и за Сальери. Вечером - Вы, Корифей, Вы, мой бесценный друг. Жаль мы медлим с Вами, но за то благодарю Бога. Простите, кончаю. Сухарева относится к "колориту", о чем я обмолвился в письме от 8го ноября в день Михаила Архангела, архистратига. Да и Вы, мой бесценный, единственный, Вы тоже архистратиг.

Прости, архистратиже, ДРУГА - так ты добр.

Москва. 17ое ноября, пятница.

В небе сквозят голубые пятна, солнце свежит по спинам. Все высквозилось, всё полегчало. С легким сердцем, ничего не думая, ничего не чувствуя, делаю ряд мелочей (покупки, деловые разговоры и т.д.) Какая-то пустая энергия, какая-то непустая пустота, сознание, что "ТО Я, Я", окрашенное в дух текучего ренессанса. "Свет месяц", говорят мне мои же руки. О, никто другой этого не скажет. А если бы, если бы "Miserere!" говорю силой предшествующих дней (без них бы я ничего не сказал.) Иду светло, светло - случайно легко встречаю К.и

легонько захлёбываюсь. Неужели бывает, что всегда непрерывно так? Однако и тут изюминка - домовый комитет устраивает концерт, а поэты нашего города - вечер. Ничего`с, я вот кончу и поставлю Вам точку, а там попытаюсь написать хоры. Едва ли удастся, потому, что все возвратились из театров и угрожают вилками. Ну да черт подери, испробую. Да`с. А то почитаю Гофмана (Самоватор, Роза.) Прощайте.

Е.Ш.

Москва. 18 ноября, суббота.

Дружок мой, сядем, отдохнём. Пусть грохочет весь мир. Ведь ничего, если мы с тобой прижмёмся на время к стенке и сядем, ведь не забранят же. немножечко сердечного тепла. Пусть гудят колёса и томят часы полудня. Когда мучили семью Маккавеев, вытягивая жилы, знаю, в той же комнате, где их мучили, была скамейка. Здесь можно было сесть, отдохнуть, забыться на минуту другую, чтобы потом опять...

Дружок, дружок, прости меня! Ты сам видишь, - это "улица" Достоевского. Вчера вечером мне было так, что едва не умер. А всё хотелось спастись; ну она и подошла сюда эта "улица". Представьте себе поздний вечер, глубокою ночь в комнатах. И вот, сколь не поздно, никто не спит, все ходят, говорят, и я начинаю ходить, где шире и чище и говорить, где глуше и неслышнее, и белая пена чистыми - чистыми иголочками искалывает губы, как портной иголкой наперсток. Глаза скудно бегают по вещам; на часах выступает холодный пот, дыханье трансформируется в пустой сквозной напев; виски превращаются в идиотов, и вот комната и в ней два идиота ходят ходнем, наглухо закупорив синия жилы, как вино в бутылках.

Дружок, это вне житейских причин, иначе оба были бы прострелены насмерть. Из житейского здесь лишь легчайшая, как поводья феи Маб, поводья. Это духово дело, духов бунт. О бесы! - "...рабы восстанем, не вы ли мать по воспитанию мне?" (пр.Ф.П.15).

Это выясню Вам ещё когда-нибудь. Утро вечера мудренее. И в самом деле, сегодня утром нашел ещё "улицу", которая светлой, о сколь, сколь длинной, стезей вилась от моего дома до эшафота, а кругом как раки пятились тупики. "Улица" эта - мысль об уходе, об отъезде, мысль о желаньи, которое потенциально сделалось уже фактом. И вот, дескать, братец, гуляй себе пока, в ус не дуй, потому что дальше есть граница, пересечение, когда время идущее бесконечными сутками в бесконечность будет прервано и перенаправлено по иному.

Я сегодня поздно встал, и всё-таки это было утро. Дружок мой, ты поймешь, что горькая это "улицы", хоть и утешительная и что смертельно горький это план. Вот почему не освежили ни ноябрьский воздух, ни музыка. Вечер перешел в ночь, а та в зияющую дыру, сомкнувшуюся только тогда, когда с Гофманом в руках я отошел ко сну грядущему. Дружок, помолись. Это я.

Москва. Воскресенье, 19 ноября.

Начальник хора, дай я тебя поцелую. Выслушай день: ранним святым утром мы отстояли всю литургию, которую служил епископ (Дух.Сем.; еп. Иннокентий Туркестанский; С.М.М.П.16). К концу я устал, а друг мой (М.П.) сделался совсем восковым, как отрок. Вот, подумал я, хорошо бы и мне так таять, исходить и просвечиваться духом, как это тело. Но нет, нет, увы нет. Если тело - зверь, то дух - звери. И не изойдет, не просветлится ни при каких шепотах.

Устал и прилег, потому что в часы одинокие люблю я усталый прилечь. Но вот надо идти, так как говорят "дело", и мы идём: улицы пестреют, отец дышит, меня грабят. Снова дома, снова прилёт и кроткой умиротворенной речью отвечаю на вопросы, раздающиеся из разных комнат. Закрытые веки делаются хрустальными. Что-то повеяло, дрёма прошла, читаю Гофмана.

И снова сумерки. Не слишком ли это богато? Ведь каждый день. Иду запахнувшись. Таёт. "куда идёшь, господин?" спрашивают детские голоса моих грёз. Ах, я бы заплакал, я бы приголубил их, но иду, иду и иду. Есть тень одна (К), к ней иду. Вхожу. Тонкий дымок идёт изо рта, и черный бархатистый нагар горько и иронично нежит горло. Мы все двигаемся в комнатах и так, как думают, что надо идти, мы идем (Я,К,М.) к юной фантастке (О.). Пришли. Снова комнаты, другия, снова дым и нагар акварельным абрисом. Тень, извиняюсь. Фантастка обижена. Другая (С.К.) ласкает глазами. А я думаю: безумья, безумья, Господи!

Снова надо идти. Мы возвращаемся туда, откуда вышли и я снова вижу прежния комнаты. Движусь гипнотически, переписываю портрет, закрепляя его Тургеневым. Feci quod potui. Все-таки ведь сделал же, дал.

И вот я дома. Голова кружится, ничего не вижу. Всё, что видел, кажется призраком, большим призраком, содержащим в одной фигуре множество фигур, лиц, предметов, слов, мыслей. И вот будто-бы этот призрак освещен желтым светом, а кругом валяются в беспорядке вещи, книги, бумажонки. Кто же это, кто сказал сейчас "Офелия"?

Поцелуй меня, начальник хора, и отпусти. Прощай. Е.Ш.

Понедельник. 20 ноября. Москва.

Друг, ты знаешь, поверхность (гладь) прибрежной воды, уединенный мирок зелёных верхушек, темный холодок и мутящая глубь. Если сидит Алёнушка, то даётся бел-горяч камень, а если прачка, то - некрашенные доски. Друг, ты знаешь, как тонет день Божий в сознании: вот почти погрузился и канул, но ещё торчит последними своими часами, как желтая кувшинка или, как рыжее темя принца Хохлика. Не могу назвать тебе этого времени, ибо лишь только вспыхнет электричество, и вечер и ночь превращаются во что-то единое, в какой-то бесконечный коридор, желтоосвещенный. А потом, утром, когда вспомнишь, что делалось в коридоре, что говорилось, что писалось, что думалось, сухими - сухими делаются глаза, открытые Химере. И если утро, как иногда бывает, - светоутреннее, то капельки пота на лбу замораживаются в узоры, как стекло в зимний морозный день. Подойдешь тогда к зеркалу и увидишь, как бы хрустальный венец на лбу, нежно подписывающий ледяными звездочками от виска до виска "miserere".

Коридор, который был приготовлен для меня сегодня, начался беседой и демонстрацией книг, потом последовал раскрашенный потолок, крики и табачный дым "кафе поэтов" (к счастью на 5 минут) и, наконец, чай дома с беседой и рассказами (В.В.С.; арт.С.)

Представлением о завтрашнем дне и соответствующими приготовлениями всё было прервано, и отошли мы ко сну. Прощай.Е.Ш.

Москва.21 ноября, вторник.

Интронизация ПАТРИАРХА.

Введение во Храм. Друг мой, по слабости сил не могу ввести Вас в Храм дня сего, ибо во истину это был Храм. Было 3 храма, один в другом: первый Храм "Введения", а в нем второй Храм - Успенский Собор, а в нем третий Храм - горный трон. И во все три введен избранный и нареченный отец наш Тихон.

Утро было лунное, как крымская ночь или пасхальная полночь.(Я и С.). Усп.Соб. залит морем огней. Патриарх Тихон неизречен.Когда он вышел в патриаршем облачении, в митре, увенчанной высоким, тонким, драгоценным крестом, мне вспомнился мой сон про "инкрустации", который оказался пророческим. А в мантии и в клобуке святейший патриарх казался нездешним. Жертва вечерняя. Жертва увенчанная.

Оказалось, что приехал В.Г.Ц. и ждал меня. Еду к нему, а затем провожать его на вокзал.Какой покойный и милый человек. На Рождество буду у него.

Прихожу домой, - за чаем сидит О.Г. Очень рад. Проектируем "вечер" - М.П. играет. С рассказывает, я читаю. Но пока что мне надо уходить...здесь тень одна (К.)... В шумном, юном кругу мне, усталому, мерещатся стулья, но все-таки хорошо : О.самая юная, но перегонит всех и отринет; С.С. на 2 секунды открыла мне глубь глаз; К.,как "БЛАГОВЕЩЕНЬЕ".

В 11 я дома и мы устраиваем вечер. Я читаю отрывки из "Акафиста", а ночью до 4го рассказываю М.М. интронизацию. Видите, друг мой, не мог и оглянуться. Простите. Евгения Шиллинга, любящего Вас.

Среда 22е ноября.М.

"Поздняя дорога",милый,"разговор с королём."А вечером мы на "Корсаре".Я попадаю ко второму акту. Бисер сыплется незабвенными узорами, но, что увидишь, что поймёшь этими оплывшими глазами и этим лиловым лицом? Ничего не вижу, не понимаю и не произношу имени моего Светоча, чтобы не было "всеу". Светоч, Светоч, я чту тебя, как глухонемой. Друг, помните, я писал в "Херувимской"...и не сможем землю-красавицу отринуть даже, СВЕТОЧ, с вами! Воистину!

Тронул слегка лишь "маленький Корсар" и драматич. сценка перед "рассказом" - у столика с чашами - "радость свидания".И там и там на меня взглянули детские глазки моих грёз и упрекнули.Медова, Светоч мой, ты в блаженном тупике, каждая нить тянется к какому-нибудь острову АРХИПЕЛАГА.Лоб твой, как всепрощенье.О,Светоч,прости.

Вечером говорили про "Снегурочку" и "Грозу" Островского, и я убеждаюсь, что всё-таки надо прислушиваться ко мне и внимать моим словам,

тусклым и бедным, что полевые цветочки. Не тушите их. Miserere. Рыбы сказали. Пророчествуют.

Целую тебя. Е.Ш. М.

23 ноября, четверг.

"Поздняя дорога", милый, даже слишком - 2 часа, как и вчера. Утро - утречко, ты не увидено, не услышано, не прожито. С сегодняшнего дня начинается "дальняя дорога" для - ради "житейских попечений" - какая легкая лихорадочка с серебряными движками холодного пота где-то внутри. Как далеко от вас, Корифей

мой, забываемый, Воитель мой в высокие черные пустыни.

Заплутал, видимо, в лабиринте, выстроенном из трёх сосен, и Минотавр делает меня своим другом, и Минотавр преследует меня. Застиг в комнате, где я обедал в полном одиночестве и при полной тишине. Сумерки вильнули, как серый мышинный хвостик, наступили темные потёмки. За послеобеденным часом тронул меня Минотавр за плечо и сказал: "Я ещё буду".

Сдержал-таки слово "ПОЗОР И УЖАС КРИТА", сдержал-таки слово и лег на душу, когда вечером сидел я гостем у К. Ведь тогда я читал и говорил, и пускал на белых лебедях черных коршунов, и мыслью растекался по дереву. Но не читал, не говорил, не воевал, не растекался я, а страшными блуждал извилинами Лабиринта. Здравствуй, Минотавр. Это ты? Добрый вечер. Ну, а завтра кого мне ещё вышлют? Кикимору? Черта? Льва? О, высылайте, высылайте! Я и сам превращусь в зверя и буду терзать не только посланных мне чудовищ, но и чудовищ посылающих. Девушки, милая, девушки - лебеди, вы смотрите на меня с недоумением и по своему каждая передаёт мне свои качества - кто крылья, кто глаза, кто полёты, а я, как старый гриб, разрастаюсь во все стороны и даю трещины. Но мы ещё повоюем, мы изопьём шеломом Дону! Иным всё обещаю и все дам, что можно и что надлежит, но Тень не испугаю, ея не коснусь и как, если даже сандали...

Физическая боль прерывается, захлопывает форточку и дух, как зверь испуганный свистом бича в цирке, бежит в берлогу и смолкает. Плоть у нас крепче. Дух легче сдает. Дух зверинее плоти. Милый мой Корифей, это я злобствую, говоря так. Не осуди. Я скоро приду к тебе ночью никодимовым приходом. Друг твой.

Москва. 24 ноября, пятница.

Здравствуйте, Кормовой хора "волн солоно-терпких". Сегодня праздничный день из праздников примирения. Их для меня 2 в году - их 2 в ноябре - 8е и 24ое - Михаил и Екатерина - отец и мать. Ночью, в темноте, бывало, прижмусь лбом к стене и слышу или представляю, как они дышат. А их костюмы! Какие складки, какие ткани, какая теплота. Янка (собачка) знает. Она бежит как пружина за платком, за пиджаком, за кофточкой. Я их целую, Михаила и Екатерину, подходя близко и беря за руку, и вот начинает лезть в голову всякая всячина - неровен час подымается суета, и к возлюбленным моим, к моим милым, к моим милым не подойти уже просто, а по черным, черным ступеням.

Дорогтй друг, что такое для нас Мать Вы понимаете. Но для меня мать, для меня... Это неизреченно. Об этом пытается сказать и "Херувимская" и "Девочка со спичками" и Ноябрь, весь Ноябрь. Я напишу Вам завтра, может быть изреку что-нибудь, а сейчас кончу, ибо сегодняшний день не дается в руки, как заяц. А возможно, что я сам заяц и сам не даюсь той благодати, которая гонится за мной.

Судите сами: встал в 12 и еле-еле поспел к житейским попечениям. Снег сверкает солнцем. Светло, слишком светло. Далеко забрёл, пустынно одиноко. Вечером ещё дальше ухожу и ещё страшнее дебри улиц. Вхожу в дом Щепкина, как в пустыню, потому, что сегодня не это бы. ("Волки и овцы" Островского). Лирическая капелька (Найденова), как благодетельная капля елея. И снова я дома. Хорошо. Можно оглянуться и отдохнуть. Целую мою любимую, незабвенную, в честь которой прожил, увы, не весь день, а немногия минуты его. Простите. Е.Ш. И все-таки отвергнул и её.

Москва.25 ноября, суббота.  
Здравствуй, Серка.

Сегодня я весь день "оглядываюсь", т.е. определяю что именно осталось, что разрушено, что было и что это такое? Про субботу думал ещё задолго и вождеделел - никого, мол, у меня не будет и я никуда не пойду. Сяду, мол, за стол да подумаю, оглянусь маленько. Вот и оглядываюсь, а день проходит так, что "прожито будто бы нежито", день поглощается предшествующими, уже пережитыми днями, ныне мертвыми, усопшими. И как тут не пожелать, Ноябрь, твоё 25ое! Немного осталось снежинок. День сей не медведь ли, которому говорят: "Покажи, Михайлушко, покажи, дурашливый, как звонарь Пахомушка..." или - "покажи Михайлушко, покажи дурашливый, как девица белится, белится - румянится" ... И он все это делает. Бедный Михайлушко.

Видишь, Серка, тут "miserere", оно не моё и не во мне, центростемительным движением оно трогает центробежную силу моего исконного, внутреннего "miserere", как брат трогает брата, чтобы поцеловаться. Серка, на вопрос: "время, где твоё жало?" могу ответить я и отвечу: "Вот оно!"

Итак, я оглядываюсь, Серка, на последние дни: сквозь серо-серебристый туман проясняется поле, усеянное устами - одни расколоты, другие вспенены, иныя выгнуты в кружечки, иныя расхищены, отбиты, плачут, роняют зубы, бесчинствуют, милосердствуют, дышут, шепчут, косятся, как глаза испуганной лошади. По круглой струне, ввитой в туман, по полю, по серым клубам отуманенного поля прошел караван серебряных звонков и осел чернobarхатными ключьями на излучинах уст, усеявших землю. Это был пир и чаши. Пир пронесся. Это был я один, один, как всегда. Что же осталось, дай сочтём и что разрушено и что это такое? Серка, Серка, видишь счел. Видишь, я не один в зеркале, а меня двое и оба с разными лицами. Счел, Серка, видишь, счел и учел и назвал одним именем: "Miserere".

Серка, Серка, сжался надо мной, ведь я и писем писать не умею, ведь я не читаю ответов, которые ты мне пишешь, не делаю выводов, запаздываю (это тебе, тебе-то!!!), молчу и мертвыми устами здороваюсь с тобой и прощаюсь. Если

я для тебя опаздываю, для тебя, то где же и когда я не опаздываю? - Везде и всегда. Страшно. Я прачка. Ты любишь меня, хоть прачку, но любишь. Прости меня. Серка, Серка, где ты? Когда я пишу тебе это минотавр пишет, рогами, и мордой малюя буквы, не я пишу, а бесы, не я, а мои виски - два идиота, Серка. Вру, лжесвидетельствую, клятвопреступаю. Не могу больше. Серка,м... Е.Ш. Воскресенье.26 ноября.М.

Что же, дружок мой,- "пусто шоломя окатисто". Был у обеденьки святым утром ( служили архиеп.Кирилл Тамбовский и еп. Мелетий Забайкальский).Я слегка пошатывался от усталости, изнемогал. Дома прилег - веки затворились, прохрусталились и заклеились сном.Среди дня, сумерками, пришлось выходить на дальнюю дорогу и, рано ли поздно ли, прибыть к некой "чете с чадами" (Яковлевы).У них протек весь вечер. Приняли хорошо: поздоровались, отрезали кусок пирога и для забавы инсценировали начало антонидиной арии из "Жизни за царя" -" налетели злые коршуны...", причем меня заставили играть роль того, на кого "налетели", а сами исполняли "коршунов". Вышло очень мило, благодаря простодушию инициаторов картинки и их музыкальности.И дальше всё пошло своим чередом: всё приобрано, сновали прислуги, горе-ла лампа и освещала поющую женщину. Маленькия девочки слушают мать. Сразу видно, что поёт словесница - и напев и текст будто-бы подлинные. Пора спать, а девочка просит:"мама, расскажи про детей земли"-, сразу видно, что это была "литературная" сказка или, вернее,- "новейшая" сказка. И на том и на другом отпечаток модерна с художественным уровнем (говорю лишь для данного случая) пуговиц модного дамского пальто. А как уютно: лампа, женщина, девочки...Совсем детство.Чувствую, ресницу гнетет серая нежная паутинка: где-то поёт розовая молочная пенка; в сердце вспыхивают глазки. Как уютно; если окинуть все тихим взглядом, но не всматриваться, не вслушиваться."Дети земли",какой ужас! Модерныя соринки и штришки - какой ужас! Как коротко и тесно. Нельзя побыть, войти и остаться. Нарисованная декорация комнаты с изображением стола, стульев, лампы. Какими оне будут непонятными эти девочки. У них будут лбы и может быть это будут лбы медуз. Что таится за их глазами? М.б. представления какого-нибудь "общего блага" в связи с забавной формой маминой муфты.

Прости, дружок, за болтовню. Надо кончать. Хорошо бы миру сему "немножечко сердечного тепла". А то ведь за последнее время измаялся, в комнату не могу к людям войти - всё кажется у них клочья изо ртов лезут.Вот и сегодня у "четы": Что, мол, делаешь? Уроки даешь? Много энергии отнимает? Времени нет? Или - А, ты был там-то и там-то? С кем? С "одним типом"? Можно подумать, что у у тебя много "типов", а на самом деле всё один и тот же, да и то только г. Сладкопевцев.(С.)Или :Вы займитесь этим вот. Вот вам ещё хорошее дело, сделайте то-то и вот это... и т.д.

Дружок мой, не знаешь ли ещё, между прочем, почему победители (здесь это т.н. "большевики") кажутся людьми, пообедавшими 2 раза?

Прости за ерунду. Дальнего не было. Впрочем, было: ночью начал "Элексир сатаны" нашего общего друга Э.Т.А.Гофмана, да, когда возвращался домой, лобызал в душе сандали апостола Павла.

До завтра. Любящий тебя Минотавр.

Понедельник. 27 ноября. Москва.

Здравствуй, Химера. Рассмейся. Когда я шел утром к врачу, обратил внимание на барочную церковь, озаренную белым светом зимнего утра. Стены заморожены, на углах ещё торчат серые лоскуты траурного тюля. В этой церкви, очевидно, отпевали Серку. Вероятно, в толпе стояла "девочка со спичками", ёлка", прачка, Минотавр и стулья, покрытые сгоревшей скатертью. Девочка со спичками глядела на усопшую маму, а остальные замерли в эпилепсии.

Церковь эта находится недалеко от Красных ворот (по Басманной, кажется). Её строил андерсеновский архитектор. В общих чертах она представляет собой высокий узкий барочный корабль с развернутыми по бокам крыльями длинных узких коридоров. На воротах сидит ворона и держит простыню, скорченную от подагры. Ворона поёт.

Больше сегодня ничего не видел и не слышал. Заметил, что если ближние мои встретят меня, то из всего ералаша загадок моего нутра выберут по зернышку, дочиста всё, что понимают в себе или по себе или что считают своим. Выберут, разложат, покажут, объяснят, умозаключат и либо похлопают по плечу, либо надругаются. Так точно и крысы разведывают сало - пронюхают и растащат.

Картина получается ужасающая, потому, что из всего ералаша загадок нутра берутся лишь куски сала. Кусочки сии раскладывают, как мазайку и полученные изображения представляют тебя, когда ты хочешь посмотреть в зеркало. На оное размышление натолкнули меня многия предшествующие наблюдения и обличения моей маленькой слепой, а так же и саулов дух, дурное настроение, и сейчас сужу о себе не по зеркалу, а по сальной мозаике (мол. "вершочка" не хватает, отсюда всё и проистекает. Итак, я сам похож на крысу, наевшуюся отравленного сала. Ну, прощай.

Исправим немного тебя (в хоре). Сейчас лягу за Гофмана ("Элексир") Ах, как темно. Неужели Химера? Прости, Химера! Рассмейся. Евгений Шиллинг.

Москва 23ое ноября, вторник.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. После этих слов молчать бы и молчать. Но как? Ведь я не могу не жить того, что предлагается, а предлагается следующее меню: "1 апреля под соусом бреда, мечты, призрак бледный, пустота с пирожками."

Меня обманывают и я обманываю. Перво наперво я обманул С. - проглотил утро и мы не пошли к кн. Ш.-Ш. Затем, я обманул себя, подумал: "с этой барышней из писчебумажного магазина можно кашу сварить". Затем меня обманул С., когда критиковал ударения в моём "приветственном хоре", а я, в свою очередь, - его, не возразив, как это надлежало бы. Час был белый, опаловый, предобеденный. Это было бельмо. Затем меня обманула слепая (О.Т.), утверждая, что я воробей. Черная крыса. Затем мне казалось, что мы идём по улицам втроём, предпочитая даже плаху этим длинным тротуарам. Взаимные обманы прогрессируют: друзья мои думают, что я

с ними, и я уверяю, что я с ними, все думают, что  
те-  
атре, и я уверяю, что это так, и все думают, что  
и  
я уверяю, что я с ними, все думают, что я и они  
я  
уверяю, что это так, и все уверяют, что это так,  
го-

я и они в  
я в театре,  
в театре, и  
далее все

ворят, что это хорошо и вот это хорошо, а это не так хорошо или  
застегивают пуговицу на шубе, спрашивают про вчерашнее, глотают  
слюну. И вот, так как они меня этим обманывают, я тоже их обманываю, делая  
вид, что и я говорю это и я это делаю.

Так все продолжается, пока, наконец, нас всех не застигает ночь, как  
муравьёв и мы деревенеем, спим, разворачиваем челюсти, переворачиваемся на  
другой бок, чтобы одеяло приятнее лежало где надо и мы засыпаем, как мореные  
тараканы.

Кстати о театре. Знаешь ли, милый Корифей, они большей частью кадеты -  
интеллигенты. Мне дурно делается в их залах, вестибюлях и фойэ. К тому же я не  
интеллигент и не кд. И это искусство! Пугает меня и балет, этот мой старый и  
бесценный друг. Во-первых, надо идти в театр по улице, прохоженной моими  
шагами, во времени, до нельзя исчерпанном всякими психическими воз-  
можностями. Во-вторых, окаменелость нашей Торпсихоры постоянно переносит  
меня в те старые времена, когда я был "как некий юный бог". Вспоминаются  
даты, возникает представление об эпохе, когда я был до божественности, до  
трагизма, до смешного "романтичен". И на сцене видишь то, что уже было  
принимается на все лады, во всех планах, относительно чего всё исправно  
пережито и пройдено как только мы можем во всем мире.

Тогда бывало вечер воскресенья (вот, кстати, пришлось заговорить, ведь я  
вам когда-то писал вечер воскре-  
сенья"), приведенный вне "зефилов" и "наяд", казался чем-то  
ужасным, что представление о таком вечере веяло и оставляло в  
сознании даже когда он проводился в обществе "нимфей", "дриад"  
и прочих фей, Он ведь обрывался в черную тьму, ходя по комнате,  
наполненной звуками романсов, голосами и шагами. Он ведь укоряет: "Аа нуу аа  
нуу... Прачка, прачка, прачка моя! А где резвость, где юношеская резвость? Нуу  
аа, нуу аа! Попляши..."

Ведь он гонит за ширмы, заставляет преспеть, представляет для прочтения  
календарные листки или клочья бумаги для рисования. Теперь-то, слава Богу, это  
извеялось в связи с вышеупомянутым противодействием дорогой моей  
Торпсихоре, но кое-что все-таки осталось. Вечер воскресенья, друг, вечер  
воскресенья! Есть и еще в нем нечто, но милое и сладостное,- это то, что  
притекало из детства, когда мы с Вами не были знакомы. Посему здесь не  
распространяюсь, тем более, что я уже решил писать своё детство. Скажу пока  
одно - какое-то очарование, какая-то паутинка, какая-то комната, платок  
"акулькой", колонны, фонарики... и какая-то сладкая непрерывность, непрерывно  
кончающаяся.

Скоро мы с Вами расстанемся. Но нет, нет, этого не будет. Все позволено! Всё возможно! Мы ещё и ещё так тысячу раз встретимся и обнимимся. Я слышу Ваше теплое дыхание и мощный бездонный плащ. Ваши волосы влажно спадают с чела и обмывают плечо. Мы с Вами будем странствовать, научиться, бороться. Вы сломаете мне ребро, Вы меня приголубите, сообщите все драгоценности, и поцелуете. Это ничего, что ноябрь кончается. Где нет горечи? Целую Вас. Е.Ш.  
29 ноября, среда. М.

Дорогой мой!

Хоть и прекрасен ты на улицах в свете дня (магазины), хоть и неизреченны эти белые (сегодня) сумерки, я всё же безучастен. И мне становится жалко этой роскоши, этих диамантов, разбросанных на каждом шагу. Он стоит справа, слева, всюду. Он хватает спину, завивает павлиньи завитки на шляпах. Он сам безмолвен, но из серебряной чаши льёт на грудь своё имя. Слышишь, как оно льётся не перельётся не выльется - НОЯБРЬ! НОЯБРЬ!

Витии многовещанные многими изяществами ... его дни. Они эфирными коронами коронуют каждую ноябринку, снегом неснежным повивают глубокия выемы под его глазами, они ленты зарывают в дорогу, но не могут достойно прославить его. О, Ноябрь, Ноябрь! Прощай. Милый, что мне делать? Я краток, как век Пушкина или Байрона, но не могу с ним расстаться. Ноябрь, Ноябрь! Сквозь флёр безучастия траурныя слёзы лью. Флер траурен и глух.

Перед смертью единственный друг Мне сказал, привставая и плача: Всю дорогу несите без слуг И марши пусть слёзам в придачу...

Мы играли фюнебр. Я вижу: фантомы на излёте. Ноябрь, Ноябрь. Это ты - Ноябрь. Прощай.

30 ноября, четверг. М.

Это 30ое, друг. Сегодня скажу тебе недоговоренное в предыдущем, т.е., если припомнишь, про "колорит", про "мать" и про патриарха. Скажу кратко, ибо сил нет.

1/Калорит. Это ещё с детства, детское. Если смотришь из Кремля вниз и вдаль, то жизнь окрашивается в со-ответствующие краски. Достаточно посмотреть раз, чтобы нутро запечатлилось навсегда этим духом, чисто московским. Отсюда уже пластические образы, преображающие данное явление, напр. "боярин Михаил", "заваленки", "ромашки" и "одуванчики", "архистратигов день", "летних теней пена" и др.

2/ Мать. Это ещё с детства, детское. У мамы была большая картина, на которой изображен пейзаж и ма-ленький конь. иной раз ночью он всю ночь храпел, а мать меня утешала. У нея было полотенце, которое исцеляло от болезней. В детстве думал, - "если что случится, я под рельсы". Отроком думал: "приду к ней и заплачу". Юношей думал: "если ты туда, то знай, я с тобой" и бледный, изможденный лежал в кресле на терраске. А теперь я слышу, как она дышет. Неизреку.

3/ Патриарх. На человеческом плане: пророк, заглядывающий не в глаза Бога, а в себя самого.\* Теперь о сегодня" 1. житейския попечения (дам) на фоне траурного

флера безучастия. Ноябрь, Ноябрь! 2. С кем долго не виделся,  
того боюсь. (Флоренский Павел) 3. Пой и ещё пой!(А.Рембо)

4. Ангелы крилами закрываютс - не могут на Тебя смотреть. Я бросаю  
плыть - так глубока печаль. Ну вот и  
всё. Дело закончено. Конец - делу венец. В тростнике золотеют волосы  
утопленника. Год канул. До будущего, до скорого свиданья - мой  
единственный. Твоя любовь и сам ты, что ты есть  
- вот мой единственный спасительный вывод , который незримо веял почти в  
каждом из сих минувших писем, так, что и писать не надо было.

Теперь простимся, потому, что ты со мной, но уже не у нас. я ещё что-  
нибудь придумаю. Я поймаю тебя, рассмотрю, обойму. Или никодимовым  
приходом удивлю тебя. Ты идёшь сейчас под черными высями и тепло  
упоительно дышишь. Видишь же, я отрекся и о  
ком не говорю. Давай же, запоём прощальную песнь: СВЯТЫЙ БОЖИЙ,  
СВЯТЫЙ КРЕПКИЙ, СВЯТЫЙ БЕССМЕРТНЫЙ, ПОМИЛУЙ НАС.

\* Интересен мой сон, вид енный в октябре сего года. Сон оказался  
пророческим: будто мы в Кремле (я, С., и папа) около Усп.Собора. Происходит  
какая-то служба, чуть ли не более торжественная, чем пасхальная заутреня.  
Народу так много, что целая толпа стоит у западного входа. Я хочу остаться, но  
мои спутники спешат, и мы проходим мимо. Но все таки мне удастся заглянуть  
внутри Собора. И вижу будто бы царские ворота раскрыты, всё сияет, горит. В  
алтаре вдоль престола с севера на юг проходит м.Тихон, быстрыми шагами в  
странной митре и в странном облачении и будто бы так, что он держит в руке  
светлую ниточку, привязанную к надперстному балдахину и на ходу будто бы  
отдергивает незримый занавес, тяня за собой ниточку. Завеса незрима, но видна  
лишь ея верхняя часть в виде драгоценных инкрустаций на незримом  
предполагаемом фоне. А сам м.Тихон похож на нежную птичку. Таков сон. На  
интернизации я с удивлением узнаю во внешнем облике святейшего Тихона,  
облаченного в патриаршее облачение, все вышереченные образы моего сна, т.е.  
инкрустация, ниточка, птичка, странность и необычность службы и события.

Подготовила к публикации Е.В.Григорьева.